

ФЕДОР АБРАМОВ  
**В ПИТЕР ЗА САРАФАНОМ**

*Рассказ*

В избе было жарко, душно. Открытое окно не давало прохлады. Пахло дымом — где-то опять горели леса.

Павел Антонович держал в руках полотенце. Он был еще крепкий старик. Сидел прямо, умные глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах Кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах, где скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере, участником которой он был сам, память ему частенько изменяла.

Поэтому нам нет-нет да и приходилось обращаться за помощью к его жене Марье Петровне, полной смуглой старухе с удивительно молодыми карими глазами.

— Пишите, пишите — нынче вся жизнь на бумаге, — с легкой усмешкой говорила она, когда я наклонялся над записной книжкой.

Потом, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, Марья Петровна сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя старушка... — И тут же воскликнула: — Вот она, легка на помине. Бредет.

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу.

У крыльца зашуршал веник, скрипнула наружная дверь. В избу вошла старушка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие вроде «Все здорово-те».

До чего же эта была маленькая да ветхозаветная старушка!

Одега она была тепло, не по-летнему. Стеганая коричневая кацавейка без рукавов, которую редко нынче увидишь в деревне, серый матерчатый передник, из-под которого выглядывает подол бордового сарафана с кистями домотканого пояса, на голове синий платок, повязанный концами наперед, и, конечно, повойник. В общем, одежда ее, если не считать синего полинялого свитера с вытянутыми рукавами и кирзовых сапожек на ногах, была выдержана в духе благочестивой старины. И все это — и передник, и кацавейка, и сарафан — по-детски крохотное, игрушечное, так что при всей своей серьезности и чинности старушка до смешного походила на кукольную матрешку.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Какó в гости? Середь бела дня в гости, — проворчала старушка. — Филиппьевне-то пенсии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рождение свое узнать.

— Ох ты, господи! — всплеснула руками Марья Петровна. — Забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду ноне, — пояснила, вздохнув, старушка. — Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет пряться». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдешь?

— Бабушка, — подал я голос, — а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму. — Филиппьевна приложила сухонькую руку ко лбу и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону. — Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка. — Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

— Чую, что дальний. У нас говорья-то, кабыть, потише.

Марья Петровна подмигнула мне: видал, какая у нас Филиппьевна?

— Из Ленинграда, бабушка. — ответил я. — Слыхала такой город?

— Она не только слыхала. Она бывала там, — не без удовольствия сказала Марья Петровна.

— Почто бывала? — с притворной сердитостью возразила старушка. — Я в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка, — рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком?

— Пешком.

— Отсюда, из Ваймуши? — Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра.

— Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды... Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла это расстояние своими ногами... Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном...

— Правда, правда, — горячо заверила меня Марья Петровна и с гордостью посмотрела на старушку. — Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

— Как забыть-то, — раздумчиво сказала старушка. — Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят, — посочувствовала Марья Петровна.

— Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а матенка у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, поднял крупную облысевшую голову:

— Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

— Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что. Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдат был, бедный, — неторопливо начала она, — а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к соседям, а у них посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу... Ну, скоро праздник престольный подошел — богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то соседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в своем синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и ребята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядная была. А Марьюшка, прости господи, тюрятюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: как же бы мне такой сарафан заиметь? — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать

надо. А где? Куда девку-малолетка возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила...

— Эка ты, — подосадовала Марья Петровна, — да как шла-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

— Мама как услышала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, — говорит, — Олюшка, умом пошатилась.» А тата-окойничек из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, — говорит, — девка! Иди, Олька. Люди же, — говорит, — ходят». Ну, матенка непривычна была перечить — не нынешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко — в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему несладко было... Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рубль медью.

— На-ка, девка, иди с рублем до Питера, — всхлинула Марья Петровна.

— Да как ведь деньги-то не трава — в лесу не растут. А дома-то у нас еще четверо по лавкам... Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, — говорит, — Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О татонька, татонька, — говорю, — не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, — говорит, — Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет. Питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась. — Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Татонька-то у нас два раза говорить не любил... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, — говорят, — скорее, дитяtko, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Да как уж его в деревне ругали. «Вот какой, — говорят, — бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был...

— Давай — так не все приветили, — поправила Филиппьевну Марья Петровна. — Забыла, как у мужика-то заплатки отработывала?

— Да как ведь то уж где было-то. Когда к Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то что бывает?

— Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна. — Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее осветилось улыбкой. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. — Были, были журавли, — вздохнула она. — Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лед хвостом разломала. «Иди, — говорят, — прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки, журавушки, — кричу, — передайте нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, — говорит, — сам, Олька, всю весну журавлей выпрашивал: не видали ли где

мою девку?»

— Пишите, пишите, — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо, — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал.

— Чего писать... — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ка, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? — И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, — говорит, — глупая, лето пугаешь? Есть, — говорит, — у меня сапожонки некорыстные — только заплатки поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, — говорит, — дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплатку ты мне день с ребятами поводишься».

Филиппьевна пожевала губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

После этого старушка не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла, наконец, в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный прищепт — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакий муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Дале догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, — говорит, — Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся кавалер, сам прочитал. «Тебе, — говорит, — девушка, на Васильевский остров надо. Иди, — говорит, — все по Невському прищепту, там царьский дворец будет». — Филиппьевна подняла голову. — Видела. И царьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством. — Вишь ты, все еще стоит, — покачала она головой. — Да и как не стоит. Каменной — чего ему дается.

Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потеряла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, — говорят, — за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи, — опять начала подсказывать Марья Петровна.

Старушка поджала губы и строго посмотрела на нее.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки пачкают.

— В няньках бабушка жила, — пояснила Марья Петровна. — Год у немца выжила.

Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. — Сарафан-то как?

— Купила, — с досадой ответила старуха. — Все Невско обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, рассмеялся.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах — неизбыточной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладонь, поглядела на небо.

— Это на солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна. — Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная старушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковьяющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улите старушку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло дымом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоем время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

© Абрамов Ф.А., правообладатели

Источник публикации: В Питер за сарафаном : рассказ // Звезда.— 1961.— № 1.— С. 40-44